

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

...И СИЛОЙ ЖИЗНИ НАПОИТ

Разные люди приходят в театр. Но начинается спектакль, и многоликий зал вдруг превращается в одно существо, которое страдает, возмущается, радуется. И чувство взаимопонимания смыкает преграду между сценой и залом. Зрители живут одной жизнью с героями — мыслят и чувствуют, как они.

Какая же власть дана искусству! Почему люди плачут от чужого горя и радуются чужому счастью? Зачем человеку они — эти слезы и радость? Как театр становится школой, где обучают самой трудной профессии — быть человеком! Об этом наш разговор с заслуженным деятелем искусств РСФСР, режиссером, старшим преподавателем Белорусского театрально-художественного института АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ДОБРОТИНЫМ.

— Когда я думаю о месте искусства в жизни, то невольно вспоминаю этот случай: шел трудный бой, силы солдат были на исходе. Тогда им на помощь прислали музыкантов. И свершилось чудо: обессиленные войны поднялись и пошли вперед. И победили. Какую силу подарила им музыка!

— Самую большую — силу духа. В годы войны мне часто приходилось наблюдать, как совершались такие чудеса. Именно тогда я по-настоящему понял, как нужно человеку искусство. С какой радостью встречали солдаты артистов фронтовых бригад... Помню, мы показывали на передовой отрывки из спектакля «Человек с ружьем». Если бы вы видели глаза тех зрителей, уходящих после концерта в бой: сколько в них было веры, силы, мужества!..

А в годы коллективизации наш агиттеатр как-то выступал в колхозе. И после спектакля в артистов стреляли кулаки. Это ли не высшее признание силы искусства?

— Всего несколько часов мы проводим наедине с героями спектакля, фильма, книги. Может ли одна такая встреча изменить что-то в человеке?

— Не только может. Должна! Если, конечно, он не был сторонним наблюдателем. Если жил тревогами и радостями героев. Если он волновался... Я не утверждаю, что человек может сходить в театр, увидеть прекрасную картину и сразу перековаться — изменить вкусы, взгляды, убеждения. Но

каждое настоящее произведение искусства оставляет след в душе. Я вспоминаю просветленные глаза зрителей, когда Леонидов игозал Митю Карамазова... Это было потрясение. Словно гроза пронеслась над залом и очистила души людей. Мне кажется, после мхатовского спектакля кто-то из зрителей давал себе слово начать жить иначе — лучше, добрее. Кто-то, наверное, решил помириться с другом, написать письмо матери, навестить больного товарища. Каждый, как умел, выражал пробужденную в душе жажду добра. Нет, этот свет из их глаз не мог исчезнуть навсегда — он должен был остаться в душе хоть слабым отблеском.

— Еще Аристотель считал, что трагедия ведет к очищению души от низменных страстей — катарсису...

— Какие бы высокие гуманные идеи ни содержало произведение искусства, человека они не тронут, если он равнодушен. Его нужно взволновать. Искусству дано и учить, и совершенствовать, и развивать. Но путь к разуму лежит через сердце, через чувства. Когда я читаю стихи Есенина — в любой аудитории, я вижу, как слушатели откликаются, если мне удается обнажить чувства поэта, его душу. Иногда люди плачут, слушая «Письмо к женщине». Это святые слезы. Не надо их бояться — это вовсе не признак сентиментальности. Это очищение души.

— Некоторые художники, ученые были склонны приписы-

вать искусству роль врачевателя, видели в нем своего рода терапию.

— Наверное, от болезней все же надежнее лечиться у врача. Но одно рациональное зерно в этой идее есть: искусство может бороться против таких недугов, как мещанство, потребительское отношение к жизни, корыстолюбие, бесчеловечность. Не только может — обязано! И оно оправдывает свое призвание, если будет больше произведений, становящихся событием. Хочется, чтобы чаще зритель уходил из театра потрясенным, чтобы он встречал там настоящую страсть, а не мелкие страстишки. Чтобы, увидев героическое на сцене, захотел совершить что-то такое же в жизни...

— Уж не предлагаете ли вы населить пьесы одними идеальными героями? Но разве зрительно не хочется увидеть на сцене себя? То, что ему близко, понятно!

— А что такое «близко»? Одному близка собственная рубашка, а другому — страдания борцов за свободу, заключенных в тюрьмы. Вот почему я считаю, что зритель должен видеть на сцене не идеального героя, а идеал. То, с чего надо делать жизнь. К чему надо стремиться. По-моему, мы иногда слишком буквально понимаем слова «художественная правда». Да, на сцене нужно показать жизнь — но не надо слишком увлекаться подробностями «кухонного быта». Можно до мельчайшей детали воссоздать на сцене жизнь челове-

ка — как он ест, спит, идет на работу, беседует вечером с женой, сидит у телевизора. Но зачем это? Во имя чего? Увидит ли зритель перспективу, позавидует ли герою, захочет ли быть таким, как он? Нет, я за борение мыслей и страстей, за поэзию, за символику — за исследование жизни. Только такому искусству дано волновать умы, вмешиваться в жизнь, бороться...

Меня, например, тревожит поток детективов, который захлестнул теле- и киноэкраны в последние годы. Мы приучаем зрителя к голой интриге, острому сюжету.

— Наверное, страшен не сам по себе острый сюжет. Вызывает опасение потребительское отношение к искусству.

— Вот именно. Детектив вызывает скорее азарт, чем любые другие чувства. Человека волнует, кто убил? Найдут ли убийцу? Это, как в хоккее — забьют шайбу или нет? А где характеры, где психология, где эмоции? Фильмы «про шпионов» напоминают мне игру в оловянных солдатиков. Герои одни и те же, только переставлены по-разному. Но как ни переставляй — не оживут они. Потому что не согреты горячей мыслью, кровью сердца.

— И кое-кто, прививший к азарту детектива, начинает скучать, когда ему предлагают, например, Чехова. Ему подавай темп. Остановиться, заглянуть в душу — некогда. А как же с пищей для ума!

— А ведь это одна из главных целей искусства — дать пищу для ума. Заставить думать, сомневаться, искать истину. Искусство делает человека интеллигентнее...

— Но что вы понимаете под этим словом?

— Конечно, не профессиональную принадлежность. Даже кандидатский диплом —

еще не свидетельство интеллигентности. Она предполагает многосложность души, готовность бескорыстно служить людям, культуру чувств, душевную тонкость. Этих качеств очень часто не хватает людям, считающим себя интеллигентами. Если сын-инженер вызывает из деревни мать, чтобы получить большую жилплощадь, а потом выделяет ей место в коридоре, а то и вовсе гонит из дому — о какой уж тут интеллигентности говорить? Начальник, который, развалившись в кресле, грубо кричит на стоящего перед ним пожилого подчиненного, писатель, в пьяном виде быющий посуду в ресторане, — разве таковы интеллигенты? Их души черствы, они молчат.

— Дал ли нам современный театр интересные образы настоящих интеллигентов?

— К сожалению, их мало. Для меня высший образец интеллигента — Ленин. Я часто выступаю с композицией об Ильиче в рабочих общежитиях, в цехах. И всегда стараюсь подчеркнуть не только его мудрость вождя, но и глубину человечности его, интеллигентности. Говорю, как чуток он был к людям, принципиален и честен в каждой мелочи. А мы иногда сами не замечаем, как часто идем на компромисс с самими собой. Не хочется сегодня делать — отложу на завтра; не выполнил обещание — в другой раз выполню. А от мелкого компромисса недалеко и до сделки с совестью.

В жизни я часто встречаю интеллигентных людей — и среди рабочих, и среди педагогов, и среди ученых. Главное, что в них привлекает, — духовное богатство, удивительная чуткость, умение общаться с людьми.

— Мне кажется, что театр как раз и является школой об-

щения. Ведь человек почти всегда находится среди людей — дома, на работе, на улице. А на Западе сочинили миф о некоммуникабельности людей. Уж не для того ли, чтобы внушить человеку, что он одинок в этом мире, слаб!

— Мне всегда хотелось, чтобы с моих спектаклей человек уносил веру в жизнь, в себя. Чтобы он уходил напоенным силой жизни. Каждый спектакль может стать открытием, нести нравственное прозрение.

— Если можно так сформулировать, то театр — и искусство вообще — должны быть школой для души!

— Именно так. И сейчас это особенно важно. Благосостояние растет. И страшно, чтобы сытость, обилие вещей не заслонили человеку духовные богатства.

— Надеюсь, это не означает, что материальное благополучие неизбежно влечет за собой мещанские интересы!

— Отнюдь. Я вовсе не против вещей — я против их культа. Это в пору моей юности комсомольцам был свойствен тазовый максимализм — долой шляпу, галстук и прочие буржуазные предрассудки. Хорошо, когда девушка красиво одета. Плохо, если, кроме модной тряпки, для нее в мире ничего не существует. Хорошо, если в квартире полированный бар, цветной телевизор, — но что, если эта мишура мешает увидеть красоту мира, отгородит его от людей, сделает квартиру прекрасной тюрьмой? И особенно плохо, если человек сам не чувствует, что он не свободен. Если его устраивает эта жизнь... Мне хочется, чтобы театр звал на простор из узкого мирака, рождая в душе высокие стремления.

— Чтобы по нему зрители сверяли свою жизнь? — Безусловно. Как ноту — по камертону. Чтобы душа не фальшивила... А если спектакль может быть камертоном — человек уйдет из зала не таким, каким пришел.

Беседу вела
Г. ЦВЕТКОВА.

ВЕЧЕРНИЙ МИНСК

25 ФЕВ 1974